



## Пролог

### ИЗ ЧЁРНОЙ ТЕТРАДИ

*Я не берусь сказать, с какого возраста начал слышать чужие мысли. Вероятнее всего, с самого рождения.*

*Помню себя лет с трёх. Помню, как молча и яростно упирался, пока мать тянула меня из дальней комнаты в оглушительную, яркую, страшную гостиную. Я униженно заткнулся о край ковра и дальше пошёл сам, но надолго моих сил не хватило. Слишком много чужих людей было вокруг. Их мысли грохотом горного обвала прорвали привычный фон из родительских забот, звучававших глухим морским прибоем, колкого недовольства моей сестры (она меня терпеть не могла за то, что я, со своим дефектом, вечно был объектом всеобщей жалости) и блёклых ментальных образов пары служаков. Ко мне склонились незнакомые лица. «Так сколько тебе лет? — и тут же, поверх, обращаясь к моей матери: — О, я уверена, это поправимо, я дам вам адрес хорошего окулиста...» Я тем временем стоял смиренно и старательно смотрел вверх, так как знал: именно этого сейчас от меня хотят отец и мать. «Поздоровайся с гостями, Альрих». Но стремительное мелькание неразборчивых образов — извержение чужих мыслей — становилось невыносимым: казалось, мою голову сейчас раздавит в тисках хаоса. Я зажмурил глаза, заткнул уши, упал на ковёр и начал дико кричать. Кажется, я обмочился.*

*Помню, в тот день, уже переодетый, я потерянно ходил по коридору, чувствуя, как в сорванном криком горле прорастает чертополох, и слышал (отнюдь*

не обычным слухом), как родители шёпотом спорят в спальне. Обо мне.

Из комнаты вышел отец — перед отцом нельзя было не преклоняться: ростом под прилолку, красив породистой, холодной красотой. Я подошёл робко — знал, что сильно виноват, хотя не понимал в чём.

Отец молча резанул меня взглядом ярко-голубых глаз, попытался обойти, затем слегка оттолкнул меня коленом. Очень аккуратно. Очень брезгливо. Со стыдом.

Лет до пяти я отчаянно боялся любых прогулок. На улице я словно бы становился всеми прохожими сразу, моё «я» рвалось на тысячу кусков, и я принимался вопить до хрипоты или просто терял сознание.

В доме часто бывали доктора. Матери их слова не нравились: «Послушайте, мой сын не эпилептик и не душевнобольной. Ему просто нужно подобрать очки...»

Когда мы с матерью оставались наедине, она порой улыбалась мне с изумлённой нежностью — ведь всякий раз, когда она была чем-то огорчена, я с тех пор, как сделал первые шаги, непременно подходил к ней, чтобы молча её обнять. Мать уже тогда догадывалась, что я воспринимаю мир не так, как другие. Но никак не могла — не может и по сию пору — объяснить это моему отцу. Отец мне не улыбнулся, кажется, ни разу. Отец всегда и везде стыдился меня: как же так вышло, что вот этот косоглазый заморыш, начинающий верещать всякий раз, когда его выводят к незнакомым людям, — единственный наследник рода?

Позже, однако, я стал находить в прогулках большое удовольствие, приводя мать в злое отчаяние заявлениями типа: «Вон, смотри! Этот человек, когда придёт домой, побьёт жену». «А вот эта женщина только что стащила сумочку». «А вон тот мужчина — видишь, он смотрит на тебя? — он думает, что ты красивая». Мать больше не испытывала ко мне прежнюю чуть опасливую нежность. Теперь она считала, что я всё вру — напропалую, ей назло, а мои фантазии не по-детски грубы, попросту отвратительны. Меня часто

наказывали за «бесстыжие выдумки», пока я не приучился держать свои наблюдения при себе.

Тем временем из дома начали исчезать служанки. Блюда на обеденном столе становились всё скуднее. Как сейчас вижу: сестра капризничает, отодвигает тарелку, но тут же придвигает обратно под леденящим взглядом отца; ведь отец умеет ударить одним лишь словом, заморозить одним только взглядом, его мысли тяжелы и остры, как секиры. Я сидел тихо. Я знал, что нашей семье, возможно, скоро будет совсем нечего есть — именно этого очень боялись родители, хотя никогда не говорили о своих опасениях нам с сестрой.

В разных комнатах нашего большого дома висели портреты предков — и вечерами я украдкой подходил к каждому из них. Я просил предков, чтобы те не дали нашей семье умереть с голоду: неспроста же они так внимательно смотрят, думалось мне, все эти люди, рыцари и дамы, поэты и епископы, все так похожие на моего отца. А тот во времена моего детства любил повторять: «Надо жить так, чтобы предки могли нами гордиться». От людей на портретах нашей семье достались фамильный герб и девиз. Герб — синий, как небо, с золотыми лилиями и звёздами, а венчающий его девиз звучит так: «Звезда их не знает заката». Однако я и тогда уже понимал, что на самом деле всё очень плохо и гордому девизу наша маленькая семья совсем не соответствует. Вечерами у нас на ужин были лишь остатки чёрствого хлеба.

Помню, как однажды в наш дом пришли двое хлыщей в одинаковых костюмах-тройках — нет, не гости, они к тому времени у нас уже давно не появлялись — вольно переступили порог широко распахнутой двери и монотонно отвечали на все возражения матери: «Поймите, мадам, нас всё это нисколько не интересует». Гораздо позже я осознал, что эти двое были представителями кого-то из разъярённых кредиторов отца. Но в тот день я не понял ни слова из услышанного, мне ещё не было и семи. Запомнил другое: страх матери. И ещё кое-что: один из визитёров, заметив двух детей, выглянувших из

*комнаты, присмотрелся к младшему, очкарику, и, ухмыляясь, скосил к крупному носу цыганистые глаза. И как же меня это ошпарило, как возненавидел я носатого типа за мерзкую выходку, за издевательство над моей уставшей, измученной матерью, как яростно поклялся отомстить... «Пусть тебе будет ещё хуже, чем нам!»*

*Лицо того хлыща помнится мне до сих пор. Лица подобного ярко выраженного типа спустя несколько лет начали появляться на пропагандистских антиеврейских плакатах. Мне при виде таких плакатов всякий раз становилось не по себе, будто я всё это накликал. Ведь я отлично запомнил, как, едва выйдя из нашего дома, визитёр поскользнулся на обледенелой дорожке, упал и сломал себе локоть. Я не смотрел в окно и не видел произошедшего, но ясно слышал чужую боль. Наверное, я должен был обрадоваться, однако не получилось: когда ты ощущаешь чужую боль как эхо собственной, радоваться при подобных происшествиях затруднительно.*

*Обрадовался бы я, если бы не обладал способностью слышать чужие мысли? Этот вопрос занимает меня до сих пор. Наверняка бы обрадовался. Наверняка.*

*Рассказ о себе принято начинать с детства. Но сейчас я, сидя над сложнейшими расчётами, в лихорадочном, выматывающем ожидании судьбоносной операции, едва ли смогу придерживаться хронологического порядка. И если уж на то пошло, пишу я не автобиографию, а... попытку оправдания?*

*В начале декабря прошлого года, утром одного из командировочных дней — в моей памяти они слились в один бесконечный сумрачный день, из которого я с ужасающей чёткостью помню каждую подробность, — я шёл от автомобильной стоянки по центральной улице лагеря. За мной увязался недавний знакомец из соседнего гостиничного номера, тоже приехавший на службу. Жизнелюбивая общительность соседа являлась для меня суцим бедствием. Особенно если учесть, что я тогда всё свободное время предпочитал проводить молча, бессмысленно уставившись в одну точку, отчего мой ординарец начинал всерьёз беспокоиться за моё здоровье.*

Звали соседа не то Крюгер, не то Крегер, да и чёрт с его фамилией, неважно. Он был профессором медицины и доктором философии, преподавал, кажется, в Берлине. Сюда приехал в командировку на пару месяцев, заменить кого-то из взявших отпуск лагерных медиков. Успев прознать, что я выпускник философского факультета (лагерное начальство сплетничало про меня много и охотно), этот Крюгер, скучая в здешнем не слишком интеллектуальном обществе, посчитал меня достойным собеседником и не отвязывался. Я же старался не отпалкивать его, понимая, что он может предоставить мне ценные сведения относительно узников — меня-то командировали расследовать убийства персонала, и мне не пристало брезговать никаким источником информации.

Что меня в нём поражало: Крюгеру было около шестидесяти. Я никак не ожидал увидеть среди лагерного персонала ровесника моего отца. Бог ведает почему, но мне тогда казалось, что хотя бы возраст (и воспитание прошлого века) может служить неким препятствием... Я не мог не поинтересоваться, что он здесь делает и почему согласился выполнять свои нынешние обязанности — констатировать смерть при казнях, а ещё «сбирать образцы» в таком месте: вырезать куски печени из только что умерших от голода (а то, по его же словам, ещё живых) людей. Он, хорошо обеспеченный, признанный в академических кругах, давно состоявшийся человек в возрасте, запросто мог бы отказаться от подобного занятия. Ответ Крюгера — я, телепат, ручаюсь за его совершеннейшую искренность — я не забуду никогда:

— Здесь, конечно, *Apus Mundi*. Перед ликвидацией жёщины закатывают безобразные сцены. Это дурно влияет на моё пищеварение. Но в общем — самая обычная работа.

Мог ли я назвать свою тогдашнюю работу «обычной»?

Мы шли по широкой лагерной улице, Крюгер рассказывал мне о достоинствах здешнего офицерского кази-

ОКСАНА ВЕТЛОВСКАЯ

*но и хвалил блюда в столовой. Курица с картофелем. Кролик с капустой. Ванильный пудинг. Я в те командировочные дни вообще не чувствовал вкуса еды, даже вспомнить не мог, что ел и ел ли вообще. Пищеварению Крюгера стоило позавидовать.*

*В лагере не росло ни единого дерева, ни единого куста. Кругом была лишь присыпанная снегом земля и стены, стены... И я подумал: счастье прочих людей, что они рождены жить среди невидимых глухих стен. Моё отличие лишь в том, что для меня стен не существует. И это не моя заслуга.*

*Впереди группа женщин-заключённых чистила улицу от снега. Широкими лопатами лагерницы соскребали снег к баракам, оставляя голую мёртвую утрамбованную в камень землю, будто расстилая передо мной и Крюгером чёрный ковёр. Мы как раз проходили мимо, когда одна из женщин, немолодая, очень худая, как все они здесь, — к тому же от голода её заметно пошатывало — выронила лопату и упала на четвереньки. Совсем рядом со мной.*

*Первым моим порывом, совершенно неосознанным, неконтролируемым, было помочь ей подняться. Я уже почти наклонился к ней, когда меня будто остро заточенным колом насквозь пробило понимание, ЧТО я сейчас собираюсь сделать. Да ещё Крюгер обернулся ко мне посмотреть, почему я замешкался. Я поспешно сделал вид, будто отряхиваю от снега полу шинели. Выглядело это, должно быть, преглупо, но, по крайней мере, вполне естественно, нормально.*

*На какой-то миг я встретился взглядом с заключённой. Удивительно, но она прекрасно поняла, что я захотел сделать и, главное, почему не сделал. И этого я тоже никогда не забуду: ей стало — мне до сих пор трудно в такое поверить, но телепату сложно ошибиться в подобных вещах — ей стало меня жаль.*

*Если бы я родился таким, как большинство, предназначённое жить среди глухих стен — прошёл бы я спокойно мимо? Не знаю.*

*Часть I*

# **ВОРОНОВ МОСТ**







## Глава 1

# КАМЕНЬ СОЛНЦА

### ТЮРИНГЕНСКИЙ ЛЕС, ОКРЕСТНОСТИ РАБЕНХОРСТА

*июль 1942 года*

**Ч**тобы посмотреть этому парню в лицо, надо было задирать голову, — однако сразу хотелось отвести взгляд. Во всяком случае, профессор Кауфман, археолог, именно так и сделал, на что приезжий понимающе усмехнулся, протянул жёсткую сухую ладонь и представился, сопроводив свои слова излишне энергичным рукопожатием.

Люди в мундирах приехали ещё до полудня. Они ходили вдоль отвалов, щёлкали фотоаппаратами, спрашивали о находках и неотлучно следовали за чиновником, который с неопределённым, но скорее довольным выражением глядел по сторонам, а напоследок прочёл профессору Кауфману, полжизни посвятившему археологии, лекцию о том, как следует проводить раскопки. Дилетантские поучения Кауфман выслушал безропотно: на этот визит он возлагал большие надежды. Профессору требовались деньги для дальнейших исследований. Кауфман знал, что чиновник оказывает покровительство археологам, сумевшим заинтересовать его своими проектами, и был уверен в успехе — почти уверен.

При чиновнике постоянно находился долговязый парень. Беседовали они между собой вполне по-свойски и составляли странную компанию: один — невзрачный человек средних лет, прилизанный и благопристойный, с тлеющей в уголках невыразительных губ скромненькой улыбкой, с покатыми плечами, внешне весь какой-то мягкий и податливый, но со стальным прищуром узких глаз; другой — здоровенный детина, худой и плечистый,

этакая мачта с поперечиной, молодой до неприличия, немислимо развязный, по малейшему поводу готовый разразиться столь диким хохотом, что у шедшего следом генерала всякий раз выпадал монокль. Общей в их об-лике была только одна деталь: круглые очки.

Чиновник в сером мундире носил звание рейхсфю-рер<sup>1</sup> СС.

Парень же, представившись, не упомянул ни звания, ни должности. Но ещё до того, как он, отделившись от группы офицеров, шагнул к археологу, Кауфман ощутил, что видит вероятного соперника. Того, кто может отнять у него Зонненштайн.

— Моё имя Альрих фон Штернберг, — парень широко, радостно ухмыльнулся. Он казался ровесником тех сту-дентов, что работали у Кауфмана на раскопках. В узком его лице, отличавшемся бледностью по-детски свежего золотистого оттенка, было ещё много мальчишеского. Но улыбался он отнюдь не по-мальчишески, странно, нехорошо улыбался, медленно растягивая крупный рот, будто его только что осенила какая-то безумная идея, которой он собирался ошарашить собеседника. Выше улыбки археолог старался не смотреть. Решительно не-возможно выдержать взгляд, когда один глаз глядит, как и положено, прямо на тебя, а другой разглядывает чёрт-те что где-то в стороне — и притом ещё глаза разного цвета: один ярко-голубой, а другой изжелта-зелёный. «Господи, ну и чучело», — думал Кауфман. И ведь этот ко-соглазый исхитрился попасть в СС, куда заказана дорога людям с физическими изъянами.

Самого Кауфмана когда-то не взяли в армию из-за ма-ленького роста.

— Я из «Аненербе», — добавил парень, откидывая с лица длинные светлые волосы. Его шевелюра была в невероятном беспорядке, словно у бродячего музыкан-та или свободного художника. Тем не менее парень но-

---

<sup>1</sup> Рейхсфюрер — высшее звание и должность в СС — воору-жённых элитных формированиях нацистской партии Германии. (Здесь и далее примечания автора.)

сил чёрные офицерские галифе. Белая рубаха, распахнутая на груди, открывала круглый золотой медальон.

— Полагаю, вы знаете, что это за организация?

Кауфман знал. Его беспокойство обрело более определённую форму. «Аненербе», «Наследие предков», эсэсовское научно-исследовательское общество, президент которого — сам рейхсфюрер. Огромное количество гуманитарных и естественно-научных отделов, ведущих работы по всей Германии, — при том, что в академических кругах слова «Аненербе», «лженаука» и «шарлатанство» нередко обозначают одно и то же.

— Вы археолог, герр... гм, герр фон Штернберг?

«Мальчишка ты, а не «герр», — добавил про себя Кауфман, — такие выскочки, как ты, у меня на экзаменах обычно проваливаются».

Парень издал тихий смешок, от которого профессор вздрогнул.

— Нет, я не археолог, герр Кауфман. Но мои занятия можно в каком-то смысле сравнить с вашими. Я тоже ищу то, что скрыто.

Парень провёл ладонью по залитому солнцем боку каменной глыбы. Его подвижные длиннопалые руки могли принадлежать пианисту или хирургу, но скорее подошли бы фокуснику: на пальцах посверкивали тяжёлые перстни, и к тому же эти руки не знали покоя — либо выразительно жестикулировали, либо ловко вертели необычного вида трость с наверху, выполненным на какой-то древнеегипетский мотив — солнечный диск, растопыренные соколиные крылья.

— В каком отделе вы работаете, герр...

— Лучше просто Штернберг, герр Кауфман. Я ведь пока всего лишь студент. Я учусь в Мюнхенском университете. А вы преподаёте в Йенском? Кстати, сомневаюсь, что вам удалось бы засыпать меня на экзамене, герр Кауфман.

Несмотря на изнуряющую жару, археолог почувствовал лопатками холодный сквозняк. Вроде он ничего и не говорил эсэсовцу про экзамен. Только подумал.